

Красная корона

Проза 1918–1920-х годов

ГРЯДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Теперь, когда наша несчастная родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала «великая социальная революция», у многих из нас все чаще и чаще начинает являться одна и та же мысль.

Эта мысль настойчивая.

Она — темная, мрачная, встает в сознании и властно требует ответа.

Она проста: а что же будет с нами дальше?

Появление ее естественно.

Мы проанализировали свое недавнее прошлое. О, мы очень хорошо изучили почти каждый момент за последние два года. Многие же не только изучили, но и прокляли.

Настоящее перед нашими глазами. Оно таково, что глаза эти хочется закрыть.

Не видеть!

Остается будущее. Загадочное, неизвестное будущее.

В самом деле: что же будет с нами?..

Недавно мне пришлось просмотреть несколько экземпляров английского иллюстрированного журнала.

Я долго, как зачарованный, глядел на чудно исполненные снимки.

И долго, долго думал потом...

Да, картина ясна!

Колоссальные машины на колоссальных заводах лихорадочно день за днем, пожирая каменный уголь, гремят, стучат, льют струи расплавленного металла, куют, чинят, строят...

Они куют могущество мира, сменив те машины, которые еще недавно, сея смерть и разрушая, ковали могущество победы.

На Западе кончилась великая война великих народов. Теперь они зализывают свои раны.

Конечно, они поправятся, очень скоро поправятся!

И всем, у кого, наконец, прояснился ум, всем, кто не верит жалкому бреду, что наша злостная болезнь перекинется на Запад и поразит его, станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества.

А мы?

Мы опоздаем...

Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же, наконец, мы догоним их и догоним ли вообще?

Ибо мы наказаны.

Нам немислимо сейчас созидать. Перед нами тяжкая задача — завоевать, отнять свою собственную землю.

Расплата началась.

Герои-добровольцы рвут из рук Троцкого пядь за пядью русскую землю.

И все, все — и они, бестрепетно совершающие свой долг, и те, кто жметя сейчас по тыловым городам юга, в горьком заблуждении полагающие,

что дело спасения страны обойдется без них, все ждуг страстно освобождения страны.

И ее освободят.

Ибо нет страны, которая не имела бы героев, и преступно думать, что родина умерла.

Но придется много драться, много пролить крови, потому что пока за зловещей фигурой Троцкого еще топчутся с оружием в руках одурченные им безумцы, жизни не будет, а будет смертная борьба.

Нужно драться.

И вот пока там, на Западе, будут стучать машины созидания, у нас от края и до края страны будут стучать пулеметы.

Безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный путь, и нам нет остановки, нет передышки. Мы начали пить чашу наказания и выпьем ее до конца.

Там, на Западе, будут сверкать бесчисленные электрические огни, летчики будут сверлить покоренный воздух, там будут строить, исследовать, печатать, учиться...

А мы... Мы будем драться.

Ибо нет никакой силы, которая могла бы изменить это.

Мы будем завоевывать собственные столицы.

И мы завоюем их.

Англичане, помня, как мы покрывали поля кровавой росой, били Германию, оттаскивая ее от Парижа, дадут нам в долг еще шинелей и ботинок, чтобы мы могли скорее добраться до Москвы. И мы доберемся.

Негодяи и безумцы будут изгнаны, рассеяны, уничтожены.

И война кончится.

Тогда страна окровавленная, разрушенная начнет вставать... Медленно, тяжело вставать.

Те, кто жалуется на «усталость», увы, разочаруются. Ибо им придется «устать» еще больше...

Нужно будет платить за прошлое невероятным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном, и в буквальном смысле слова.

Платить за безумство мартовских дней, за безумство дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станком для печатания денег... за все! И мы выплатим.

И только тогда, когда будет уже очень поздно, мы вновь начнем кой-что созидать, чтобы стать полноправными, чтобы нас впустили опять в версальские залы. Кто увидит эти светлые дни? Мы?

О нет! Наши дети, быть может, а быть может, и внуки, ибо размах истории широк и десятилетия она так же легко «читает», как и отдельные годы.

И мы, представители неудачливого поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям:

— Платите, платите честно и вечно помните социальную революцию!

В КАФЕ

Кафе в тыловом городе.

Покрытый грязью пол. Туман от табачного дыма. Липкие грязные столики.

Несколько военных, несколько дам и очень много штатских.

На эстраде пианино, виолончель и скрипка играют что-то разухабистое.

Пробираюсь между столиками и усаживаюсь.

К столику подходит барышня в белом передничке и вопросительно смотрит на меня.

— Будьте любезны, дайте стакан чаю и два пирожных.

Барышня исчезает, потом возвращается и с таким видом, как будто делает мне одолжение, ставит предо мной стакан с желтой жидкостью и тарелочку с двумя сухими пирожными.

Смотрю на стакан.

Жидкость по виду отдаленно напоминает чай.

Желтая, мутная.

Пробую ложечкой.

Тепленькая, немного сладкая, немного противная.

Закуриваю папиросу и оглядываю публику.

За соседний столик с шумом усаживается компания: двое штатских господ и одна дама.

Дама хорошо одета, шуршит шелком.

Штатские производят самое благоприятное впечатление: рослые, румяные, упитанные. В разгаре призывного возраста. Одеты прелестно.

На столике перед ними появляется тарелка с пирожными и три стакана кофе «по-варшавски».

Начинают разговаривать.

До меня обрывками долетают слова штатского в лакированных ботинках, который сидит поближе ко мне.

Голос озабоченный.

Слышно:

— Ростов... можете себе представить... немцы... китайцы... паника... они в касках... сто тысяч конницы...

И опять:

— Ростов... паника... Ростов... конница...

— Это ужасно, — томно говорит дама. Но видно, что ее мало тревожит и стотысячная конница, и каски. Она, щурясь, курит папироску и блестящими глазами оглядывает кафе.

А лакированные ботинки продолжают шептать.

Фантазия моя начинает играть.

Что было бы, если я внезапно чудом, как в сказке, получил бы вдруг власть над всеми этими штатскими господами?

Ей-Богу, это было бы прекрасно!

Тут же в кафе я встал бы и, подойдя к господину лакированных ботинок, сказал:

— Пойдемте со мной!

— Куда? — изумленно спросил бы господин.

— Я слышал, что вы беспокоитесь за Ростов, я слышал, что вас беспокоит нашествие большевиков.

— Это делает вам честь.

— Идемте со мной, — я дам вам возможность записаться немедленно в часть. Там вам моментально дадут винтовку и полную возможность проехать на казенный счет на фронт, где вы можете принять участие в отражении ненавистных всем большевиков.

Воображаю, что после этих слов сделалось бы с господином в лакированных ботинках.

Он в один миг утратил бы свой чудный румянец, и кусок пирожного застрял бы у него в горле.

Оправившись немного, он начал бы бормотать.

Из этого несвязного, но жаркого лепета выяснилось бы прежде всего, что наружность бывает обманчива.

Оказывается, этот цветущий, румяный человек болен... Отчаянно, непоправимо, неизлечимо вдребезги болен! У него порок сердца, грыжа и самая ужасная неврастения. Только чуду можно приписать то обстоятельство, что он сидит в кофейной, поглощая пирожные, а не лежит на кладбище, в свою очередь поглощаемый червями.

И наконец, у него есть врачебное свидетельство!

— Это ничего, — вздохнувши, сказал бы я, — у меня у самого есть свидетельство, и даже не одно, а целых три. И тем не менее, как видите, мне приходится носить английскую шинель (которая, к слову сказать, совершенно не греет) и каждую минуту быть готовым к тому, чтоб оказаться в эшелоне, или еще к какой-нибудь неожиданности военного характера. Плюньте на свидетельства! Не до них теперь! Вы сами только что так безотрадно рисовали положение дел...

Тут господин с жаром залепетал бы дальше и стал бы доказывать, что он, собственно, уже взят на учет и работает на оборону там-то и там-то.

— Стоит ли говорить об учете, — ответил бы я, — попасть на него трудно, а сняться с него и попасть на службу на фронт — один момент!

Что же касается работы на оборону, то вы... как бы выразиться... Зablуждаетесь! По всем внешним признакам, по всему вашему поведению видно, что вы работаете только над набивкой собственных карманов царскими и донскими бумажками. Это, во-первых, а во-вторых, вы работаете над разрушением тыла, шляясь по кофейным и кинематографам и сея своими рассказами смуту и страх, которыми вы заражаете всех окружающих. Согласитесь сами, что из такой работы на оборону ничего, кроме пакости, получиться не может!

Нет! Вы, безусловно, не годитесь для этой работы. И единственно, что вам остается сделать, это отправиться на фронт!

Тут господин стал бы хвататься за соломинку и заявил, что он пользовался льготой (единственный сын у покойной матери, или что-то в этом роде), и наконец, что он и винтовки-то в руках держать не умеет.

— Ради Бога, — сказал бы я, — не говорите вы ни о каких льготах. Повторяю вам, не до них теперь!

Что касается винтовки, то это чистые пустяки! Уверяю вас, что ничего нет легче на свете, чем выучиться стрелять из винтовки. Говорю вам это на основании собственного опыта. Что же касается военной службы, то что ж поделаешь! Я тоже не служил, а вот приходится... Уверяю вас, что

меня нисколько не привлекает война и сопряженные с нею беспокойства и бедствия.

Но что поделаешь! Мне самому не очень хорошо, но приходится привыкать!

Я не менее, а может быть, даже больше вас люблю спокойную мирную жизнь, кинематографы, мягкие диваны и кофе по-варшавски!

Но, увы, я не могу ничем этим пользоваться всласть!

И вам и мне ничего не остается, как принять участие так или иначе в войне, иначе нахлынет на нас красная туча, и вы сами понимаете, что будет...

Так говорил бы я, но, увы, господина в лакированных ботинках я не убедил бы.

Он начал бы бормотать или наконец понял бы, что он не хочет... не может... не желает идти воевать...

— Ну-с, тогда ничего не поделаешь, — вздохнув, сказал бы я, — раз я не могу вас убедить, вам просто придется покориться обстоятельствам!

И, обратившись к окружающим меня быстрым исполнителям моих распоряжений (в моей мечте я, конечно, представил и их как необходимый элемент), я сказал бы, указывая на совершенно убитого господина:

— Проводите господина к воинскому начальнику!

Покончив с господином в лакированных ботинках, я обратился бы к следующему...

Но, ах, оказалось бы, что я так увлекся разговором, что чуткие штатские, услышав только начало его, бесшумно, один за другим, покинули кафе.

Все до одного, все решительно!

Трио на эстраде после антракта начало «Танго». Я вышел из задумчивости. Фантазия кончилась.

Дверь в кафе все хлопала и хлопала.

Народу прибывало. Господин в лакированных ботинках постучал ложечкой и потребовал еще пирожных...

Я заплатил двадцать семь рублей и, пробравшись между занятыми столиками, вышел на улицу.

В НОЧЬ НА 3-е ЧИСЛО

Из романа «Алый мах»

Пан куренный в ослепительном свете фонаря блеснул инеем, как елочный дед, и завопил на диковинном языке, состоящем из смеси русских, украинских и слов, сочиненных им самим — паном куренным.

— В Бога и в мать!! Скидай сапоги, кажу тебе! Скидай, сволочь! И если ты не поморозив, так я тебе росстриляю, Бога, душу, твою мать!!

Пан куренный взмахнул маузером, навел его на звезду Венеру, повисшую над Слободкой, и двинул гашетку. Косая молния резнула пять раз, пять раз оглушительно весело ударил грохот из руки пана куренного, и пять же раз, кувыркнувшись весело — трах-тах-ах-тах-дах, — взмыло в обледеневших пролетах игривое эхо.

Затем будущего приват-доцента и квалифицированного специалиста доктора Бакалейникова сбросили с моста. Сечевики шарахнулись, как обезумевшее стадо, больничные халаты насели на них черной стеной, гнилой парапет крикнул, лопнул, и доктор Бакалейников, вскрикнув жалобно, упал, как куль с овсом.

Там — снег холодный. Но если с высоты трех саженей с моста в бездонный сугроб — он горячий, как кипяток.

Доктор Бакалейников вонзился, как перочинный ножик, пробил тонкий наст и, подняв на сажень обжигающую белую тучу, по горло исчез. Задохнувшись, рухнул на бок, еще глубже, нечеловеческим усилием взметнул вторую тучу, ощутил кипяток на щеках и за воротником и каким-то чудом вылез. Сначала по грудь, потом по колена, по щиколотки (кипяток в кальсонах) и наконец — твердая обледеневшая покатость.

На ней доктор сделал, против всякого своего желания, гигантский пируэт, ободрал об колючую проволоку левую руку в кровь и сел прямо на лед.

С моста два раза стукнул маузер, забушевал гул и топот. А выше этажом — бархатная божественная ночь в алмазных брызгах.

К дрожащим звездам доктор обратил свое лицо с белоснежными мохнатыми ресницами и звездам же начал свою речь, выплевывая снег изо рта:

— Я дурак. Я жалкая сволочь.

Слезы выступили на глазах у доктора, и он продолжал звездам и желтым мигающим огням Слободки:

— Дураков надо учить. Так мне и надо.

Он стал закоченевшей рукой тащить носовой платок из кармана брюк. Вытащил и обмотал кисть. На платке сейчас же выступила черная полоса. Доктор продолжал, уставившись в волшебное небо:

— Господи. Если Ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в Слободке. Сию минуту.

Впиваясь в желтые приветливые огоньки в приплюснутых домишках, доктор сделал глубочайший вздох...

— Я монархист по своим убеждениям. Но в данный момент тут требуются большевики. Черт! Течет... здорово ободрал. Ах, мерзавцы! Ну и мерзавцы! Господи... Дай так, чтобы большевики сейчас же вот оттуда, из черной тьмы за Слободкой, обрушились на мост.

Доктор сладострастно зашипел, представив себе матросов в черных бушлатах. Они влетают, как ураган, и больничные халаты бегут врассыпную. Остается пан куренный и эта гнусная обезьяна в алой шапке — полковник Мащенко. Оба они падают на колени.

— Змилуйтесь, добродию! — вопят они.

Но доктор Бакалейников выступает вперед и говорит:

— Нет, товарищи! Нет. Я монар... Нет, это лишнее... А так: я против смертной казни. Да. Против Карла Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю, при чем он здесь в этой кутерьме, но этих двух нужно убить, как бешеных собак. Это негодяи. Гнусные погромщики и грабители.

— А-а... так... — зловеще отвечают матросы.

А доктор Бакалейников продолжает:

— Да, т-товарищи. Я сам застрелю их!

В руках у доктора матросский револьвер. Он целится. В голову. Одному. В голову. Другому.

Тут снег за шиворотом растаял, озноб прошел по спине, и доктор Бакалейников опомнился. Весь в снеговой пудре, искрясь и сверкая, полез он по откосу обратно на мост. Руку нестерпимо дергало, и в голове звонили колокола.

Черные халаты стали полукругом. Серые толпы бежали перед ними и сгнули в загадочной Слободке. В двух шагах от пулемета на истоптан-

ном снегу сидел сечевик без шапки и, тупо глядя в землю, разувался. Пан куренный, левой рукой упершись в бок, правой помахивал в такт своим словам маузером.

— Скидай, скидай, зануда, — говорил он.

На его круглом прыщеватом лице была холодная решимость. Хлопцы в тазах на головах, раскрыв рты, смотрели на сечевика. Жгучее любопытство светилось в щелочках глаз.

Сечевик возился долго. Сапог с дырой наконец слез. Под сапогом была сизо-черная, заскорузлая портянка. Свинцовых года полтора пронеслось над доктором, пока сечевик размотал мерзлую тряпку.

«Убьет... убьет... — гудело в голове, — ведь целы ноги у этого дурака. Господи, чего ж он молчит?»

Не то вздох, не то гул вырвался у хлопцев.

Сечевик сбросил наконец омерзительную тряпку, медленно обеими руками поднял ногу к самому носу куренного. Торчала совершенно замороженная белая, корявая ступня.

Мутное облако растерянности смыло с круглого лица пана куренного решимость. И моргнули белые ресницы.

— До лазарету. Пропустить його!

Расступились больничные халаты, и сечевик пошел на мост, ковыляя. Доктор Бакалейников глядел, как человек с босой ногой нес в руках сапог и ворох тряпья, и жгучая зависть терзала его сердце. Вот бы за ним! Тут. Вот он — город — тут! Горит на горах за рекой владимирский крест, и в небе лежит фосфорический бледный отсвет фонарей. Дома. Дома. Боже мой! О, мир! О, благодный покой!

Звериный визг вырвался внезапно из белого здания. Визг, потом уханье. Визг.

— Жида порют, — негромко и сочно звякнул голос.

Бакалейников застыл в морозной пудре, и колыхались перед глазами то белая стена и черные глазницы с выбитыми стеклами, то широкоскулое нечто, смутно напоминающее человеческое лицо, прикрытое серым германским тазом.

Словно ковер выколачивали в здании. И визг ширился, рос до того, что казалось, будто вся Слободка полна воем тысячи человек.

— Что ж это такое?! — Чей-то голос выкрикнул звонко и резко. Только когда широкоскулое подобие оказалось возле самых глаз Бакалейникова, он понял, что голос был его собственный, а также ясно понял, что еще секунда человеческого воя — и он с легким и радостным сердцем пустит ногти в рот широкого нечто и раздерет его в кровь. Нечто же, расширив глаза до предела, пятилось в тумане.

— За что вы его бьете?

Не произошло непоправимой беды для будущего приват-доцента только потому, что грохот с моста утопил в себе и визг и удары, а водоворот закрутил и рожу в шлеме, и самого Бакалейникова.

Новая толпа дезертиров — сечевиков и гайдамаков — посыпалась из пасти Слободки к мосту. Пан куренный, пятясь, поверх голов послал в черное устье четыре пули.

— Сыняя дывызь! Покажи себе! — как колотушка, стукнул голос полковника Мащенко. Шапка с алым верхом взметнулась, жеребец, сдавлен-

ный черными халатами, храпя от налезавшей щетины штыков, встал на дыбы.

— Кро-ком рушь!

Черный батальон Синей дивизии грянул хрус- том сотен ног и, вынося в клещах конных старшин, выдавив последние остатки временного деревянно- го парапета, ввалился в черное устье и погнал пе- ред собой обезумевших сечевиков. В грохоте смут- но послышался голос:

— Хай живе батько Петлюра!!

О, звездные родные украинские ночи. О, мир и благодный покой!

В девять, когда черный строй смел перед со- бой и уважаемого доктора, и все вообще к черту, в городе за рекой, в собственной квартире докто- ра Бакалейникова, был обычный мир в вещах и смятение в душах. Варвара Афанасьевна — жена доктора — металась от одного черного окна к дру- гому и все всматривалась в них, как будто хотела разглядеть в черной гуще с редкими огнями мужа и Слободку.

Колька Бакалейников и Юрий Леонидович хо- дили за нею по пятам.

— Да брось, Варя! Ну, чего ты беспокоишь- ся? Ничего с ним не случилось. Правда, он ду- рак, что пошел, но я думаю, догадается же он удрать!

— Ей-Богу, ничего не случится, — утверждал Юрий Леонидович, и намащенные перья стояли у него на голове дыбом.

— Ах, вы только утешаете!.. Они его в Гали- цию увезут.

— Ну, что ты, ей-Богу. Придет он...

— Варвара Афанасьевна!!

— Хорошо, я проаккомпанирую... Боже мой! Что это за гадость? Что за перья?! Да вы с ума сошли! Где пробор?

— Хи-хи. Это он сделал прическу а-ля большевик.

— Ничего подобного, — залившись густой краской, солгал Юрий Леонидович.

Это, однако, была сушая правда. Под вечер, выходя от парикмахера Жана, который два месяца при Петлюре работал под загадочной вывеской «Голярня», Юрий Леонидович зазевался, глядя, как петлюровские штабные с красными хвостами драли в автомобилях на вокзал, и вплотную столкнулся с каким-то черным блузником. Юрий Леонидович — вправо, и тот вправо, влево и влево. Наконец разминулись.

— Подумаешь, украинский барин! Полтротуара занимает. Палки-то с золотыми шарами отберут в общую кассу.

Вдумчивый и внимательный Юрий Леонидович обернулся, смерил черную замасленную спину; улыбнулся так, словно прочел на ней какие-то письма, и пробормотал:

— Не стоит связываться. Поздравляю. Большевики ночью будут в городе.

Поэтому, приехав домой, он решил изменить облик и изменил его на удивление. Вместо вполне приличного пиджака оказался свэтр с дырой на животе; палка с золотым набалдашником была сдана на хранение матери. Ушастая дрянь заменила бобровую шапку. А под дрянью на голове было черт знает что. Юрий Леонидович размочил сооружение Жана из «Голярни» и волосы зачесал назад. Получилось будто бы ничего, но когда они высохли и приподнялись... Боже!

— Уберите это! Я не буду аккомпанировать.
Черт знает... Папуас!

— Команч, Вождь — Соколиный Глаз.

Юрий Леонидович покорно опустил голову.

— Ну, хорошо, я перечешусь.

— Я думаю — перечешетесь! Колька, отведи его в свою комнату.

Когда вернулись, Юрий Леонидович был по-прежнему не команч, а гладко причесанный бывший гвардейский офицер, а ныне ученик оперной студии Макрушина, обладатель феноменального баритона.

Город прекрасный... Го-о-род счастливый!
Моря царица, Веденец славный!..
Ти-и-хо порхает...

Бархатная лава затопила гостиную и смягчила сердца, полные тревоги.

О, го-о-о-о-род ди-и-вный!!

Звонящая лава залила до краев комнату, загремела бесчисленными отражениями от стен и дрогнувших стекол. И только когда приглаженный команч, приглушив звук, царствуя над коренными аккордами, вывел изумительным меццо:

Месяц сия-а-а-ет с неба ночного!... —

и Колька и Варвара Афанасьевна расслышали дьявольски-грозный звон тазов.

Аккорд оборвался, но под педалью еще пело «до», оборвался и голос, и Колька вскочил как ужаленный.

— Голову даю наотрез, что это Василиса! Он, он, проклятый!

- Боже мой...
- Ах, успокойтесь...
- Голову даю! И как такого труса земля терпит?

За окном плыл, глухо раскатываясь, шабаш. Колька заметался, втискивая в карман револьвер.

— Коля, брось браунинг! Коля, прошу тебя...

— Да не бойся ты, Господи!

Стукнула дверь в столовой, затем на веранде, выходящей во двор. Шабаш ворвался на минуту в комнату. Во дворе, рядом во дворе и дальше по всей улице звонили тазы для варенья. Разлился, потрясая морозный воздух, гулкий, качающийся, тревожный грохот.

— Коля, не ходи со двора. Юрий Леонидович, не пускайте его!

Но дверь захлопнулась, оба исчезли, и глухо поплыло за стеной: дон... дон... дон...

Колька угадал. Василиса, домовладелец и буржуй, инженер и трус, был причиной тревоги. Не только в эту грозную, смутную ночь, когда ждали советскую власть на смену Петлюре, но и в течение всего года, что город принимал и отправлял куда-то вдаль самые различные власти, жил бедный Василиса в состоянии непрерывного хронического кошмара. В нем сменялись и прыгали то грозные лица матросов с золотыми буквами на георгиевских лентах, то белые бумажки с синими печатями, то лихие гайдамацкие хвосты, то рожи германских лейтенантов с моноклями. В ушах стреляли винтовки ночью и днем, звонили тазы, из домовладельца Василиса превратился в председателя домкома, и каждое утро, вставая, ждал бедняга какого-то еще нового, чрезвычайного, всем

сюрпризам сюрприза. И прежде всего дождался того, что природное свое имя, отчество и фамилию — Василий Иванович Лисович — утратил и стал Василисой.

На бесчисленных бумажках и анкетах, которых всякая власть требовала целые груды, преддомком начал писать: Вас. Лис. и длинную дрожущую закорючку. Все это в предвидении какой-то страшной, необычайной ответственности перед грядущей, еще неизвестной, но, по мнению преддомкома, карающей властью.

Нечего и говорить, что, лишь только Колька Бакалейников получил первую сахарную карточку с «Вас.» и «Лис.», весь двор начал называть домовладельца Василисой, а затем и все знакомые в городе. Так что имя Василий Иванович осталось в обращении лишь на крайний случай при разговоре с Василисой в упор.

Колька, ведавший в качестве секретаря домкома списками домовой охраны, не мог отказать себе в удовольствии в великую ночь на третье число поставить на дежурство именно Василису в паре с самой рыхлой и сдобной женщиной во дворе — Авдотьей Семеновной, женой сапожника. Поэтому в графе: «2-е число, от 8 до 10» — Авдотья и Василиса.

Вообще удовольствия было много. Целый вечер Колька учил Василису обращению с австрийским карабином. Василиса сидел на скамейке под стеной, обмякший и с помутневшими глазами, а Колька с сухим стуком выбрасывал экстрактором патроны, стараясь попадать ими в Василису.

Наконец, насладившись вдоволь, собственноручно прикрепил к ветке акации медный таз для

варенья (бить тревогу) и ушел, оставив на скамейке совершенно неподвижного Василису рядом с хмурой Авдотьей.

— Вы посматривайте, Васил...ис... Иванович, — уныло-озабоченно бросил Колька на прощание, — в случае чего... того... на мушку. — И он зловеще подмигнул на карабин.

Авдотья плюнула.

— Чтоб он издох, этот Петлюра, сколько беспокойства людям...

Василиса пошевелился единственный раз после ухода Кольки. Он осторожно приподнял карабин руками за дуло и за ложе, положил его под скамейку дулом в сторону и замер.

Отчаяние овладело Василисой в десять, когда в городе начали замирать звуки жизни, а Авдотья заявила категорически, что ей нужно отлучиться на пять минут. Песнь Веденецкого гостя, глухо разлившаяся за кремовыми шторами, немного облегчила сердце несчастного Василисы. Но только на минуту. Как раз в это время на пригорке за забором, над крышей сарая, к которому уступами сбегал запущенный снегом сад, совершенно явственно мелькнула тень и с шелестом обвалился пласт снега. Василиса закрыл глаза и в течение мгновения увидел целый ряд картин: вот ворвались бандиты, вот перерезали Василисе горло, и вот он — Василиса — лежит в гробу мертвый. И Василиса, слабо охнув, два раза ударил палкой в таз. Тотчас же грохнули в соседнем дворе, затем через двор, а через минуту вся Андреевская улица завывала медными угрожающими голосами, а в номере 17-м немедленно начали стрелять. Василиса, растопырив ноги, закоченел с палкой в руках.

Месяц сиял...

Загремела дверь, и выскочил, натаскивая пальто в рукава, Колька, за ним Юрий Леонидович.

— Что случилось?

Василиса вместо ответа ткнул пальцем, указывая за сарай. Колька с Юрием Леонидовичем осторожно заглянули в калитку сада. Пусто и молчаливо было в нем, и Авдотьян кот давно уже удрал, ошалевший от дьявольского грохота.

— Вы первый ударили?

Василиса судорожно вздохнул, лизнул губы и ответил:

— Нет, кажется, не я...

Колька, отвернувшись, возвел глаза к небу и прошептал:

— О, что это за человек!

Затем он выбежал в калитку и пропадал с четверть часа. Сперва перестали греметь рядом, затем в номере 17-м, потом в номере 19-м, и только долго, долго кто-то еще стрелял в конце улицы, но перестал в конце концов и он. И опять наступило тревожное безмолвие.

Колька, вернувшись, прекратил пытку Василисы, властной рукой секретаря домкома вызвал Драбинского с женой (10—12 час.) и юркнул обратно в дом. Вбежав на цыпочках в зал, Колька перевел дух и крикнул суфлерским шепотом:

— Ура! Радуйся, Варвара... Ура! Гонят Петлюру! Красные идут.

— Да что ты?

— Слушайте... Я сейчас выбежал на улицу, видел обоз. Уходят хвосты, говорю вам, уходят.

— Ты не врешь?

— Чудачка! Какая ж мне корысть?

Варвара Афанасьевна вскочила с кресла и заговорила торопливо:

— Неужели Михаил вернется?

— Да, конечно. Я уверен, что их выдавили уже из Слободки. Ты слушай: как только их погонят, куда они пойдут? На город, ясно, через мост. Через город когда будут проходить, тут Михаил и уйдет!

— А если они не пустят?

— Ну-у... не пустят. Дураком не надо быть. Пусть сам бежит.

— Ясно, — подтвердил Юрий Леонидович и подбежал к пианино. Уселся, ткнул пальцем в клавиши и начал тихонько:

— Соль... до!..

Проклятьем заклеямен... —

а Колька, зажав руками рот, изобразил, как солдаты кричат «ура»:

— У-а-а-а!..

— Вы с ума сошли оба! Петлюровцы на улице!..

— У-а-а-а!.. Долой Петлю... ап!..

Варвара Афанасьевна бросилась к Кольке и зажала ему рот рукой.

Первое убийство в своей жизни доктор Бакалейников увидел секунда в секунду на переломе ночи со второго на третье число. В полночь у входа на проклятый мост. Человека в разорванном черном пальто, с лицом синим и черным в потеках крови, волокли по снегу два хлопца, а пан куренный бежал рядом и бил его шомполом по спине. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только странно ухал.

Тяжело и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и каждому удару отвечало сиплое:

— Ух... а...

Ноги Бакалейникова стали ватными, подогнулись, и качнулась заснеженная Слободка.

— А-а, жидовская морда! — иступленно кричал пан куренный. — К штабелю его на расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться! Я т-тебе покажу! Що ты робив за штабелем? Що?!

Но окровавленный не отвечал. Тогда пан куренный забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтоб самим увернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан куренный не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову.

Что-то кракнуло, черный окровавленный не ответил уже: «Ух...» Как-то странно подвернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной, унавоженной белой земли.

Еще отчетливо Бакалейников видел, как крючковато согнулись пальцы и загребли снег. Потом в темной луже несколько раз дернул нижней челюстью лежащий, как будто давился, и разом стих.

Странно, словно каркнув, Бакалейников всхлипнул, пошел, пьяно шатаясь, вперед и в сторону от моста к белому зданию. Подняв голову к небу, увидел шипящий белый фонарь, а выше опять светило черное небо, опоясанное бледной перевязью Млечного Пути, и играющие звезды. И в ту же минуту, когда черный лежащий испустил дух, увидел доктор в небе чудо. Звезда Венера над Слободкой вдруг разорвалась в застывшей выси

СОДЕРЖАНИЕ

КРАСНАЯ КОРОНА *Проза 1918—1920-х годов*

ГРЯДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ	7
В КАФЕ	11
В НОЧЬ НА 3-е ЧИСЛО. <i>Из романа «Алый мах»</i>	17
КРАСНАЯ КОРОНА. <i>Historia morbi</i>	35
НАЛЕТ. <i>В волшебном фонаре</i>	43
Я УБИЛ	53
КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ. <i>6 картин вместо рассказа</i>	69

ДНИ ТУРБИНЫХ *Пьеса в четырех действиях*

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ	87
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ	124
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ	147
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ	170
Комментарии. <i>В. И. Лосев</i>	190

Литературно-художественное издание

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ

ДНИ ТУРБИНЫХ

Художественный редактор Валерий Гореликов

Технический редактор Татьяна Тихомирова

Компьютерная верстка Александра Савастени

Корректоры Ирина Киселева, Алевтина Борисенкова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 05.09.2017. Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 9,87. Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93

www.oaompk.ru, www.oaompk.ru

Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685



ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60

E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-AKB-18319-03-R